



А. БЕЛЫЙ

Химеры

Гидра¹

I

Неизменно вращается время — мировое веретено — и безумно тоскует юноша, повитый хитоном тумана под однозвучное ворчанье веретена. Сложил свои руки и на них опустился грустный, лилейный профиль. И широкие рукава его хитона, точно клочья туч, проливаются ливнем. Неизменно-мирные струи орошают златовейные луга. Мерное время безумно вращает круги и на туманных кругах встают горизонты. Луна проливает сияние и юноша, точно дьякон, препоясанный лунным орарем, ищет небесных цветов на златовейных лугах — юноша, которого очи — небо, уста — зацветающий яхонт, ланиты — белорогий месяц, когда он висит «тощим облаком» бледным деньком, кудри — в сиянье утра желтые лютики. Юноша ищет цветов неба.

Не находит.

Юноша, ты плачешь? Плачет, и слезы — слезы, — веточки ландышей, — тихо цветут на ланитах, и влечется хитон, как туман, пролитый на луга — как туман, перехваченный орарем омертвевшей, скатившейся с неба луны. Лунный диакон протянул к солнцу свои лилейно-белые руки, прося золота и брызг, набирая в ладони горсточку света, чтобы им озолотиться, ожидая Солнца. Но Солнце взойшло и праздно кануло в высях дня. И опрокинул свой лик, облик тощий, — в туманные складки хитона — так луна умирает бледным утром — и золотые кудри засверкали на складках хитона — так лучи зажигают купола бледных туч.

Юноша, ты негодуешь?

Твоя матовая упругая грудь сжимается от боли обиды, точно натянутый лук из слоновой кости?

Стрела богохуления, как пурпурный язык огня, обратила в небо копьевидное острие?

Ты пепелишь небо взорами, как небо. Если хочешь уничтожить небо, вырви свои глаза.

Ты безумно тоскуешь о небе, богоборец с солнечными волосами?² Ты стоишь у горизонта, размеряя скачек, который бросит тебя в небеса.

Бойся, бойся! Вот химеры восстанут и злобно дорогу тебе заградят! Ты опустил свой лилейный профиль и сложил руки, прижимая к груди тучу. И из широких рукавов, обнаживших мрамор тела, льются вечные ливни, и точно мерное время, посылает в пространство свой докучный лепет веретена. Луна, желтый, оскаленный череп, лежит у твоих ног. Задумчиво ты попираешь ее серебряной сандалией, словно брызнувшей светом тучкой.

Тонкие черные облачка, точно крылья недоброй птицы, четко перерезали твой затуманенный облик.

II

Встала луна из под брызнувшей светом тучки. Лунный атласный орарь³ протянулся в окно. Кусок серебра упал на стол под лампу; голова низко склонилась над книгой, и сиял оскаленный череп желтым лоском, вперяя свой взор в ученого юношу.

Страницы перестали шелестеть исступленной яростью, и затуманенный взор проплыл сквозь оконные стекла: уплывая, канул в высях ночи.

Ночь, запахнувшись в ткани мирового веретена, лепетала с неизменной мерностью, — склоненная женщина над одиноким страдальцем: «С увеличением известного растут горизонты неизвестного. Положительное знание определяется отношением. Числитель отношения — известное, неизвестное — знаменатель. Развитие наук увеличивает конечно числитель и бесконечно — знаменатель. Наука оторвет нас от цветов, погасит день, вернет к незнанию. Наука чертит круги и вечно возвращает. Ты ушел от меня, запахнулся хитоном ученого. Ты, окруженный четырьмя стенами, думаешь забыть обо мне, — о напрасно!»

— «Неизменно вращается время — мировое веретено, и безумно тоскует под однозвучное ворчанье. И ворчанье растет: это — рев водопада и дожди мгновений изливаются над тобой.» И взор юноши, уплывая сквозь окна, опять и опять канул в высях неба.

Желтый месяц поднял свой тусклый лик — мертвенно скалится из под складок туманного савана.

Обессиленная голова ниже припала к фолианту, и прянули золотые кудри на лоб, точно ветром взволнованные лютики.

III

Он прижался к трубе. Его взор, уплывая сквозь стекла, опять и опять праздно канул в высях ночи. И рой миров — злые осы, — жужжа и жаля, отовсюду бросились на него. Черный пес ужаса глухо залаял ему в уши: «Астрономия опрокинула все устои, и вот с той поры одиноко несетя земля, — никогда не прикончится бешеный лет: так испуганный заяц мира, поджав уши, вечно убегает от косматого пса». Но отлетела ночь, воздушная собака, и бледный звездочет, ожидая профессора, зачертил на доске мелом знак дифференциала. И чахлые юноши, сонно клонили головы над столами, точно жалобные былинки, сгибаемые бурей, — клонились над бездной в вечный мрак.

Вот жалко пляшет по лужам профессор премудрости, повернув штиблеты. Не жезл, а зонтик у него в руках, не шапка мага на голове его, — серая фетровая шляпа...

Вот уж взбежал на кафедру давно ужаснувшийся мудрец, которого уши оглохли от псиного лая, — от лая, вечно стоящего в ушах. Фалды его сюртука, точно крылья недоброй птицы, причудливо чертят пространство. Дико уставилась в него козлоподобная бороденка. И он когда-то шел к небу, но потом мертвенно скатился к горизонту. С тех пор он навеки оскалился — вечный зубоскал и кричит: «Время — веретено, — пространство — улей золотых пчел — все это во мне и для меня».

И чахлые юноши, сонно клонятся, точно жалостные былинки над бездной —

— клонятся, склоняются в успокоенный мрак.

Вечная ночь в образе профессора, dokonчив лекцию, прибегаёт домой — сидит, усталая; наплевав на свой ужас, набивает папиросы: вертит ладонью, прогоняя с шорохом табак в гильзы: точно вечное веретено неизменно лепечет о мировом круговороте.

Вечером на журфиксе подносит к легкомысленным барышням свой оскаленный рот — трясет бородкой профессор мрака. И слова его — море шипящих змей — застилают багряный аба-

жур лампы табачным дымом. И юноша с солнечными волосами укрывается за лампу, как за щит, окруженный океаном Змей.

— Юноша, которого очи — незабудки, уста — зацветающая гвоздичка, лик — прозрачный одуванчик, кудри — в сиянье дня золотые лютики. Его грудь — согнувшийся лук из слоновойкости, разит стрелами козлоподобного мудреца: «Наука чертит круги и вечно возвращает. Она — гидра мрака».

И профессор, бросается бородой на противника, точно пернатый Орел; бегающие очи, зацветая змеиным огнем, впиваются жадно и мстительно.

Но это только кажется.

Никто из гостей не замечает, во что превращается профессор — эта многоголовая гидра скепсиса — и козлоподобный мрак влечет свою личину к закуске. Вздернутая точно куст змей, борода не скрывает провал, откуда несутся насмешливые выкрики: «Хо-хо-хо-хо-хо»...

IV

Тоскуешь смертельно о счастье, ты богоборец — тоскуешь смертельно. В испуге склонил отуманенный лик над мерцающей огненной пастью. Кто там из мрака бросает огнем? Ты сойдешь во мрак. Тебе негде быть: отовсюду несется плаксивый ветер времени.

Плаксивый ветер опоясал окрестность, и безумно завились над златоблещущим шлемом туманные складки хитона: бесцельно плещутся хитонные лопасти в вечернем оцепенении. Сжимают нервные пальцы огромный круг луны, воспаленный и красный. На этом щите почиет мраморный локоть. Десница, высоко взлетевшая над головой, в бездну низвергла острие меча — раздвоенное жало молнии, —

— и десятиголовая, крылатая гидра бешено взвилась над провалом, точно пернатый орел; змеиные рои голов, дико свиснули, точно обкатали горячей пеной прибой. Острая жала, как копья, воткнулись в подставленный щит, и светлорунные кудри заматались под шлемом мужа, виясь в ветре, брызнувшем, как огонь, из проклятых пастей. Вспыхнув, сгорели раздутые ветром одежды. Мгновение продержались в синеющем вечере сгоревшие складки хитона, точно черные крылья птицы, перерезав обнаженный стан мужа, и потом распались пеплом.

Вот стоит обнаженный муж среди сторевших одежд, закрываясь щитом месяца, и отточенные молнии ножа бешено срезают головы гидры. Гадкая кровь, проливаясь, смрадно зацветает змеиным огнем.

Но растут рои новых голов, и безмерно ветвится куст жарко дышащих змей. Сотни голов роятся жадно и мстительно.

И видя то, говорят издали: «Смотрите, смотрите: на красный месяц, воспаленно блеснувший с горизонта, ветер гонит большое, косматое облако с пылающим краем» ...

И видя то, уходят в дома... А это храбрый юноша, которого очи — сафир⁴, уста — пышащий уголь, лик — слоновая кость, кудри — брызнувшие молнии, века борется с многоголовой гидрой...

Горгона⁵

I

Око ненастья уставилось на мир тускло и тупо. Опрокинутый юноша бездумно склонился к камням, сжимая полумесяц — ониксовый осколок щита, не закрывающий обессиленные члены. Глухо стукнулся медный шлем о твердый выступ гранита, и золотые ручейки кудрей разлились по каменным трещинам. Раздвоенное жало меча бездельно змеится у ног, попаляя и плавя песок, и синий дымок тонкой струйкой плавно встает над опрокинутым мужем. Успокоенная гидра, точно пернатый орел, покорно уселась на утесе; то одна, то другая голова, змеясь, любопытно свешивается к мужу, походя на гуся, и мягкий язычок лижет обломок щита; змеи, сплетясь, тихо дремлют; лишь одна встала над серым миром, как указательный палец и пускает в небо фонтан огня. Молча сидит змеиный куст над утесом, точно волосы над бледным челом. Черный провал, в котором плачет ветер, точно чьи то уста, жалуется на безвременье. Два окна в глубину, точно грустные очи, проливают на сраженного мрак из пещерных впадин небытия, и все являет лик каменной, женской маски.

Дни идут за днями. Жизнь, как птица, несется. У ней одно крыло — день, а другое — ночь. Безостановочно плесканье дня и ночи в помутневшие очи сраженного. Тщетно силится голова приподняться. Медный шлем неизменно бряцает о красный гранит, и опять проливаются золотые струйки кудрей в каменные трещины.

Перед ним неподвижно каменное лицо прекрасной женщины, ужаснувшейся без конца; мертвенный изгиб застывших от бреда уст беззвучно хохочет над сраженным, глаза провалились от горя, и ожесточенно встали длинные космы волос над искаженным мраморным ликом.

Он узнает тебя, Горгона Медуза!...

II

Он оторвался от книги. Мертвенный изгиб застывших от бреда уст каменной маски беззвучно хохотал над ним, — каменной маски, исступленно воткнувшей в него пустоту своих глаз. И белой, как лилия, рукой он заслонил от себя медузин взор, возопив в своем одиночестве: «Эллада, Эллада — ты мраморный пьедестал всей науки, неужели лик твой, только маска пустоты?» Голова его упала на красный стол, золотые пряди кудрей рассыпались букетиком желтых курослепов.

«Наука, наука — ты говоришь мне о том, как я возник, неужели и ты — пустая личина?»

«Я один среди сереньких озарений. Жизнь, как птица, несетя. У нее одно крыло — день, а другое ночь. И быстрый день, и ночь быстрее — серое плесканье крылий вечно бьет в стекла моей тюрьмы. Я хочу знать себя для того, чтобы обозначиться пред Вечностью. Я устал в пространствах. Не хочу я временных успокоений среди дней и ночей».

Так он плачет и слезы, колокольчики ландышей, зацветают на бархате ресниц, и лилейные пальцы цепко сжимают маску античной Греции. Исступленный взор прокололи жестокие сверла пустоты, протянувшиеся из ночных очей маски. И безумно трясется от плача, и беззвучно хохочет медузин лик в ореоле змеиных волос, качаясь на лилейных руках.

Он смотрит в «пустых очей ночную муть», как бы в очи мира. Он ищет себя, и взор убегает в прошлое. И нить прошлого бесконечна. Уменьшаясь пропадает сознание: Вечность раскрыла воронку мрака, из которой он упал в этот мир, и его уже нет: и отец его уменьшаясь провалился. И дед. И прадед.

По мере того, как взор его скользит в прошлом, он видит давно минувшие картины. Все течет наоборот: раскапывают могилы, восковые куклы предков привозят на траурных катафалках в дома, дышат им в лицо синим ладаном, поливают слезами скорби; и они

встают из гробов, и седые бороды их чернеют и золотеют, втягиваясь в щеки, животы проваливаются, и они растут в землю. Зубы их тонут в деснах, а головка начинает бесцельно качаться на хилом туловище, пока не канут они в материнское чрево. И века текут. Люди и звери пропадают. Страшные чудища выползают из воды. Вот поднялась козлиная морда на длинном туловище, бегающие очи, зацветая змеиным огнем, впились жадно и мстительно: чудище ревет на фоне золотого горизонта: «Хо-хо-хо-хо-хо-хо»... И века текут. Огромные мячи одиноко носятся во мраке, точно пьяные клоунские рожи, багровея в бреду. Это миры — огненные плевки, брызнувшие в ночь из пасти туманного Хроноса. И вскрикнул в ужас богоборец, и каменная маска упала на стол, потому что это была маска Горгоны, умертвившей мир: «О горе, о горе! Меня нет. Как только взгляну в лик тебе, мир, — лик медузин, — стою, превращенный в камень. Ты, как Хронос, все проглотила, о маска, чтобы вновь все выплюнуть камнем.

И взор юноши, уплывая сквозь окна, снова и снова канул в высях неба. И серые тучи, как толстые губы Хроноса, выдавили тяжелый шар луны, точно красный плевок пустоты.

И бежит среди улиц, потрясая зонтом и крича: «Мир — кошмар, предательски развернувший свои ужасные пеленки, чтобы принять меня из материнского чрева! Прочь эти пеленки!» ...

И глядит внутрь себя, и в глубинах роятся желанья, и чувства, и мысли, порождая зависимость. И опять вырастает причинность, — неизменные повороты мировых колес — и опять нестерпимое жужжанье временного веретена; он чувствует, что причинность для него, а он ищет в ней самого себя. И зонтик трясется в его руках, и начинает кричать среди улиц: «Меня забили в гроб первой причины: этот гроб укрывает меня, как маска, от себя самого. Я сам — Горгона Медуза, глядящая на мир пустотой».

Так он стоит. И глаза его — сверла пустоты, лик — холодеющий мрамор, уста — омертвевший изгиб маски. Исступленно хохочет, трясая зонт лилейной рукой. И уже собирается толпа. И проворный полицейский направляется к нему, чтоб забрать богоборца в участок. И луна, пожелтевший плевок Вечности, нагло летит в необъятной синеве.

III

Многоумный рассеянный господин, с розовыми щеками и рыжей бородкой, добродушно и озабоченно понес к полицейскому сутулую спину, изысканно приподнял заграничный котелок, и косо поглядывая на безумного юношу, сказал городовому в нос: «Я полагаю, что у этого юноши дионисийский экстаз — не правда ли? Я много лет изучаю культы Диониса и вернулся сюда недавно, чтобы на практике проверить дионисическую теорию. Орлий клекот его уст, огнезрачный пламень, все говорит мне о том, что надо спрашивать, не «что представляет собою этот юноша, а «как» он безумствует». С этими словами он берет под руку златокудрого богоборца и уводит его из под носа полицейского.

Они гуляют на бульваре.

Теоретик дионисиазма с бесконечной кротостью и безукоризненной вежливостью, спотыкаясь о камень, меряет его голубым взором.

— Важно не «что», а «как». Я принимаю поэтому ваше безумие и несу его на себе.

Юноша. Опять ужасное «как»? Всюду оно докучно стоит надо мной. Ах, горе мне! Я хочу знать, «что» я такое: вот опять незнакомец под личиной «как», уводящий меня в пустоту. Горе мне! Мировой паяц, ты пришел ко мне. Горе мое меня погоняет. Ужас мой меня преследует.

Теоретик. Я вас не преследую. Мы идем по Тверскому бульвару — неправда ли?

Юноша. Личина мира воплотилась и бежит за мной.

Теоретик. (Искоса, но вопросительно поглядывая на безумца, держит его за руку: голубые глаза на мгновение разрываются и от туда брежжут бездонные дали. На мгновение принимает горгонин облик, орлий нос жутко нависает над змеящимися устами. Говорит строго и нравоучительно).

— Ты сам свой ужас. Ты сам своя маска. Твой лик паяца бесцельно пляшет по миру, о шарлатан. Ты сам превратил меня в Горгону. Когда я сорву с тебя личину, опустошитель. — Наблюдает какое действие произвели слова.

Юноша. Ах горе мне! Куда мне деваться. Две маски Горгоны усталились друг на друга. Два паяца укрыли свою пустоту.

Теоретик дионисиазма, спешно записывает в книжечку слова юноши чтобы иметь документы «как» тот безумствует и потом,

набрав материал для исследований, приподымает котелок и вежливо прощается. Скоро он сливается с вечерним туманом.

Юноша сидит задумчиво на лавочке, превращенный в мраморное изваяние. Тянется ночь. На рассвете безбородый прохожий с лицом Меркурия, с палкою из двух сплетенных змей в руках, будит заснувшего юношу.

Прохожий. Тебя нет, но ты будешь. Ты жив будущим. Поднимись над собой, и ты поднимешься над миром. Последняя цель безраздельно сочетает мир и тебя. Глядя в солнечный щит последней цели, ты беспрепятственно отсечешь голову Горгоне. Взору твоему предстанет мир. Ты узнаешь себя. — Уходит.

Нежные облачка, точно крылья багряной птицы радостно возносятся.

IV

Львиное тело Горгоны, точно горная цепь, залегло в пространстве. Вот она нежится в предрассветном свете. Бархатная лапа роет желтый песок, выпуская когти. Две женские груди ослепительной белизны мягко свисают над лапой. Лик дремотной красавицы отчетливо обозначился в даях. Она заботливо лижет свою лапу. Ее ресницы — черный бархат — несказанной сладостью обжигают душу; ее уста — коралл. Змеиные волосы покоятся на плечах волной пышной и золотистой: никто не скажет, что это — змеи. Два крыла притаились на спине. Львиный хвост бессильно убегает в даль.

Рассветает.

Радостно возносятся в бирюзовых пространствах багряные перья шлема, точно крылья птицы, разрывающей полетом века. Вот под шлемом сияют солнечные кудри юноши, точно край алмазного облачка. А вот и лик его — нежное облачко, припавшее к солнцу. Заботливо вперил умудренный юноша свои взоры в круглое солнце щита, закрываясь им; он поднял солнце — последнюю цель — на вытянутой руке с горизонта, и с золотым протянутым щитом бросается на горгону. Он быстро бежит к ней и чудовище мира опрокинулось в зеркальном щите. Он видит, как тает причинность в лучах последней цели и чувствует, как вновь узнает себя...

Вскочила обезумевшая Горгона, раскрыв широко свой пустой взор ужаса, и лик ее высоко вознесся на шее, точно на белой костяной башне. Полмира охватили пожарные перья расплескавшихся

крыл. Дружно встал змеиный рой на ее голове и дико оскалился на восток. Львиный хвост взметнул смерчевые столбы песка.

Вскочила и сладострастно уставилась в пространство Горгона Медуза жестокими провалами пустоты.

Но она не увидит смельчака, только золотой щит неудержимо несетя на ней, тая им героя: только лучевой меч громоносно бряцает по золотому щиту. Вот брызнул меч ей в лицо.

Химера⁶

I

Дифференциация знаний углубляет незнание. Всякое знание говорит нам о том, что мы могли бы знать, да не знаем. Оно относительно. Незнание, этот удаленный черный силуэт, одиноко стоящий у горизонта наших чаяний, при развитии наук растет, приближаясь к нам грозным исполином, чья обезумевшая глава, дико оскаленная, отовсюду клонится над нами, заслоняя солнце. Шлифуя выпуклое стекло, через которое мы смотрим, мы перестаем уже видеть сквозь него, от миллиона граней, которые мы же наметили. Незнание предстает тогда в несокрушимой броне научных методов. Сколько бы мы ни ударяли молотом нашего негодования по броне, мы только закуем врага в еще более прочный панцирь. Незнание оказывается страшной гидрой, растущей пред нами, чтоб заслонить мир. Но тщетно мы боремся с гидрой незнания, когда она сама есть наше порождение: бесконечная дифференциация знаний, плодящая бесконечность того, что еще не продифференцировано — все это следствие закона причинности; закон причинности вырастает неизменно, когда перед нами стоит вопрос о происхождении явлений. Тут мы, анализируя целостность явлений, необходимо разрываем мир на бесконечно малые элементы. Всякая определенность тает как облако. Мир оказывается тающим облаком.

Гидра незнания, покрывая ядовитыми змеями горизонт наших чаяний, сама оказывается частью более ужасного чудища: ее змеиные рои оказываются волосами Горгоны Медузы, предстающей пред нами под маской причинности. Колодезь мрака и пустоты, вот что смотрит из под явившейся нам личины. Но этой личиной является мир. Леденит нас медузин взор мира; но закон причинности только форма нашего отношения к миру; маска Горгоны

надета на нас, и не мир леденит нас пустотой, а пустота, глядящая из нас, претворяет мир в страшное чудовище. Медузин ужас вечно с нами: он — наше порождение. Гидра, Медуза — это мои химеры. Я должен в себе рассеять химеры, которые гнездятся в моем духе. Для этого я должен найти самого себя. Горгона и гидра недаром встают при попытках самоопределения. Я не подозреваю своей мощи, потому что я — лучезарное божество. В моих глазах — небо, уста мои — зоря, кудри — солнце, лик — алмазная белизна росы. Горгона и Гидра бросаются на меня, чтоб отнять сокровища, мне завещанные. В борьбе с ними возникает всякая религия. Религия — это средство найти себя. Ее начало коренится в трагизме, когда я убеждаюсь, что меня еще нет, но что я могу быть. Чудовищный ужас гнездится в основе трагизма. Недаром трагедия проводит Эдипа от кровосмешения к очищению. Но очищение доступно лишь тому, кто нечист. Трагический герой всегда носит в себе черты преступности. Но если трагедия — основа религии, то истинно религиозные люди — трагики — суть если не явные, то тайные преступники. Да, это так.

Преступление — феномен ужаса. Если в душе гнездится Химера, душа способна к преступлению. Преступить — значит уйти за черту. Благополучные люди не ведают ужаса. Чужда им трагедия. Вместе с тем они не в силах понять самоценности прекрасного и святого без моральных пут. Прекрасный поступок всегда морален. Моральный не всегда прекрасен. Жизнь должна быть красотой. Нужно воспарить над моральными предрассудками не для того, чтоб их упразднить, а для того, чтоб претворять в прекрасные. Благополучные люди не хотят претворения; между тем религия сплошное претворение. Они не хотят религии и прежде всего великой религии Претворения вина и хлеба в Тело и Кровь.

II

Наше «я» определяется первоначально, как грань всех внешних явлений. Оно — неизвестная норма, образующая и определяющая явление. Само же оно по существу неопределимо. Существенное определение нашего «я» было бы возможно в том случае, если бы мы взглянули на себя независимо от того, что очерчиваем собою. Но взглянув так, мы не находим себя. Вместо нас — дыра, веющая ужасом. То, что казалось нам нашим «я», разорвалось в туманные клочки: вот они рассеялись.

Если не испугаться разверзнутой бездны, в которую можно упасть безвозвратно — в себя упасть и лететь, лететь без конца в черном провале — дыра вырастает в коридор. Коридор духа — наш внутренний путь. Небо, нас окружавшее доселе, оказалось «голубой тюрьмой», и вот мы вступили в черный лабиринт духа, чтобы выбраться из него к вечному небу свободы. Тут, в ужасах — зачатие нашей трагедии, — проходя сквозь которую, мы впервые ощущаем веющий вихрь освобождения. У входа в лабиринт образуются горгоны и гидры ужаса. Мы теперь знаем, как образуются они в нашем духе. Они встают оттого, что коридор пустоты, в который мы вступаем не бесконечен. Луч света, пронизывающий его с *той стороны*, создает это неверное озарение, при свете которого мерещатся страхи. Луч света с *той стороны*, это — мы сами, настоящие: мы — такие, какие будем. Я, как истинный человек, — самоцель. Как самоцель, я божественен. Но законы природной необходимости придают мне черты зверя. Смешение зверя и бога, т. е. природной необходимости и свободного определения себя, как еще недостигнутой цели, — такое смешение двух правильных способов восприятия себя в отношении к миру — оно чудовищно; если чудовищно, то и преступно, кощунственно.

Всякое чудовище есть смешение зверского с божественным. Отсюда порождение Гидры и Горгоны, — этих химер духа — при необходимости преступить черту, отделяющую бога от зверя. Отсюда демонизм первоначальных ступеней всякой религии, как внутренне трагическое шествование человека к себе самому. Отсюда всякая религия в корне чудовищна и состоит в свободном, внутреннем преодолении чудищ. Это преодоление состоит в постижении призрачности чудовищ, как временных но необходимых порождений моего духа. Нельзя побороть Горгоны и Гидры, не сразившись с трехголовой гадиной-Химерой. Только тогда голубое пространство, сияющее над выходом из лабиринта, становится голубым пространством моей души. Только белые крылья дерзновения — этого вечного Пегаса — вознесут — Беллерофонта к лазури последнего преодоления. Преодолеть все, это значит найти самого себя. Утонуть в лазури, значит расширить душу свою до небесной беспредельности. Мир окажется тогда жемчужным облачком, тихо тающим в голубой неге души.

Белый конь вдохновения, лазурно пьяня, превращает вино восторга в необъятность небесных далей.

III

Есть люди, не выдавшие глубин. Ни добрые, ни злые, они проходят в жизни невоплощенные. Как трава всходят, как трава пропадают прахом. Вместо души у них пар.

Только тот, кто увидел глубины, достоин того, чтоб ужасаться: но тот, кто ужаснулся, должен сойти в черный Тартар и там побороть трехголового Цербера — эту вечную Химеру, стерегущую выход к вечной свободе. Кто взглянул в глубину, тот невольно стал преступным титаном, богоборцем, которого вся жизнь, битва за освобождение. Горе ему, если он сложит оружие пред Химерой: он закружится в веках химерическим пыльным смерчем безвольно пляшущим в солнечный день на полях, когда «голубая тюрьма» палит долгим зноем. Как часто вьются вокруг нас эти тени сломленных титанов раскидывая руки и ноги, соблазняя жизненным маревом. Следует помнить, что они идут мимо жизни в вечной пляске, точно одержимые пустотой. И как только мы вспомним, что они — лишь гробовые саваны, лишь титанические тени, склоненные пред Химерой, они тают: лицо их превращается в черную смерчевую воронку, ноги в пыль, а сюртук — в вьющийся, как змее, стержень смерча; и помчится прочь от нас одинокий смерч, чтобы вечно завиваться в полях, вечно плакаться о своей пустоте, вечно искать себе душу.

Победившие Химеру знают, что пространство, в котором зажигаются миры и время, в котором они сгорают, только крылья голубой птицы — Вечности. Эта птица — их душа. Прежде она была не вещественной точкой в пространствах и временах; теперь вселенная оказалась ее частью. Они ласкают ветерком вечно плачущие смерчи, любовно заглядывают лазурью в потемневший лик: «Усни, успокойся: довольно завиваться».

IV

Химера распласталась неподвижно. У нее голова дракона, льва и козла. Смрадная пасть дракона точно растянута туча у горизонта. Злобно сияет червленец чешуи. На них медленным комом, словно косматое, желтое облако, опустилась львиная голова. И надо всем на шее, точно на гигантской башне, вознесшейся над тучевыми космами льва, глупо торчит надменная морда козла. Два черных рога его, как облачные пики одиноко чертят золотое небо. Оловянные глаза тупо уставились вдаль.

Как огромный лебедь плавает в небе белоперый воздушный конь: его крылья — снег; его грива — перистая тучка, прихотливо растрепанная в ясной нежности. Тихо треплет лилейной рукой его Беллерофонт — ясное солнце, отбрасывающее во все стороны брызги лучей.

Вот стремительно понес исступленный конь сияющего всадника, и сверкнула молния меча, звонко ударившись о солнечную броню.

Протяжный, жалобный вопль заблеявшего козла огласил дали. Тщетно два черных рога боднули пространство, разрезав со свистом лазурный атлас воздуха. Пегас исступленно промчался между рогами, звонко простучав копытами по шерстистому затылку. Ловко опустился Беллерофонт на спине вихреносного Пегаса, обхватив рукой белоснежную шею⁷. Лилейная рука опустилась вниз, меча острую молнию, и упала скошенная голова, обнажив багряную, как гигантский пень, шею. Тогда желтый ком — львиная морда — праздно взлетел к вышине, а проснувшийся дракон, лизнул голубое пространство молниевидным языком. Но Пегас, встав на дыбы в голубых пространствах, белым винтом уносил в вышину храбреца, чтобы реять в далях нежным лебедем.

Но Химера изрыгала черные клубы туч; она вся закрылась тучами. Можно было видеть дымную глыбу, из которой исходили трубные гласы. Края глыбы загорались огнем. Снялась она с горизонта и помчалась, пламенея, принимая очертание дракона; *«вот большой красный дракон с семью головами и десятью ртами»* вознесся, чтобы сразиться с сияющим всадником. *«И низвержен был великий дракон, древний змий»*⁸, (Апокалипсис) называемый Химерой. И рассеялся пылью.

V

Безгрешный солнечный иерей⁹, на белоснежном коне застывший в лазури; иерей, чьи очи — пролеты в лазурь, чьи уста — зацветающий яхонт, чьи кудри — звездная диадема, чьи ланиты — белый алмаз, чьи ризы — солнце, ты встал над миром, ибо ты победил мир. Руки, две белоснежные лилии, молитвенно сложены на сияющей груди; оцепеневший, ты смотришь как совершается бег тучек между неподвижными копытами твоего коня, искони распластанного в небе.

Ты нашел самого себя, и стоишь, «как бы на стеклянном море», созерцая в образах все то, что никогда не имело образов. Твоя душа была вне времен и пространств. Теперь она — вселенная. И вот, все тайное твоей души, которое не могло воплотиться в пространстве и времени, теперь всплыло. Твои вещие сны плыли пред тобой, как алмазные облака, по которым мчится твой конь. Ты сам себе снишься, ибо сон твой — небо, и мчащийся белый конь и «*сидящий на нем... Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует*» (Апокалипсис) ¹⁰.

Аминь.

1905

